

ИНСТИТУТ
ЮЗДАТСИ

2

БЕГУПЕЦЬ * АНТИКА

БЕГУПЕЦЬ
АНТИКА
2

Марк Соколянский

Профессор Марк Георгиевич Соколянский — известный литературовед, специалист по русской и зарубежной литературе, курс которой он читал в Одесском университете.

В настоящее время живет в Германии, читает лекции в различных университетах США и Европы.

Круг его интересов весьма широк — от пушкиноведения до истории Одессы. И не случайно именно он создал и возглавил комиссию по изучению одесского периода жизни славного одессита

Владимира (Зеева) Жаботинского.

ОСТАЛСЯ В ОДЕССЕ

*"Мы будем помнить и в летейской службе,
Что десяти небес нам стоила земля".
Осип Мандельштам*

«Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года. Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок «русского» писателя и фуражку рулевого сионистского корабля...» Так вспоминает важный, поворотный момент своей жизни Владимир (Зеев) Жаботинский в автобиографической «Повести моих дней». В свои двадцать три года находился он, что называется, на перепутье.

Только теперь, более полвека спустя, можно оценить колоссальный диапазон очерченной им дилеммы и достижения этой незаурядной личности на обоих путях. Нет, пожалуй, не стал он в полном смысле слова флагманом мирового сионизма, хотя был признанным вождем одного из течений в этом движении и едва ли не самой яркой личностью среди сионистских лидеров всех поколений. Что же касается «лавров» русского писателя, тут судить, пожалуй, еще труднее. Планка, поднятая многострадальной и мощной русской литературой XX века, расположилась так высоко, что претендовать на «лавры» смогли лишь немногие; да и большую часть творческой энергии, свои разнообразные таланты отдал В. Жаботинский в зрелые годы главным образом не литературе. И все же он был известным русским литератором, а в журналистике имел достаточно громкое имя. И уже тогда, в 1903 году. А становление литератора, становление его личности проходило в городе, где он родился, вырос и прожил значительную часть своей жизни. В Одессе.

Одесская глава жизни В. Жаботинского еще не написана. В существующей на Западе биографической литературе об одесском периоде говорится довольно скупо, как о чем-то хорошо известном и не столь

уж значительном. Родился в октябре 1880 г., учился там-то и там-то, рано начал сотрудничать в одесских газетах, в 1898–1902 гг. находился в качестве их корреспондента в Швейцарии и Италии, в 1901 г. вернулся в Одессу, где стал самым известным фельетонистом, с 1903 г. увлекся сионистскими идеями; переехав в Петербург, в Одессе все же бывал регулярно, в 1911–1912 гг. жил в родном городе, а в последний раз побывал в нем уже в годы Первой мировой войны. Вот так схематично выглядит эта глава в изложении биографов.

Между тем, как правило, в жизнеописаниях Жаботинского излагаются лишь факты, легко отыскиваемые в «Повести моих дней»; иногда из-за незнания авторами одесских реалий они подвергаются деформации и почти никогда не проходят серьезной источниковедческой проверки, да и увязываются между собой не часто.

Круг возможных источников сведений о раннем Жаботинском и его жизни в Одессе не так уж широк. Помимо собственных произведений, это письма и дневники его современников и знакомых, архивные материалы, периодика тех давних лет (прежде всего — одесская), наиболее основательные биографии и монографии о нем...

В.Жаботинский был уроженцем Одессы в первом поколении, как и многие из его сверстников-евреев. Мать родилась в Бердичеве, отец был «никопольским мещанином». В сохранившейся в Одесском архиве метрической книге городского раввина за 1880 г. есть очень лаконичная запись (под номером 1773) о том, что у Евгения и Эввы Жаботинских родился сын Владимир. И вся-то информация со слегка перепутанной датой, без каких-либо сведений о родителях, даже без их адреса. По мемуарно-литературным источникам знаем, что родился будущий литератор и политический деятель в доме Харлампя на Базарной улице, где снимали квартиру его родители. Когда Владимиру было восемь лет, семья, уже лишившаяся основного кормильца — отца, переехала в худшую, двухкомнатную квартиру на углу (котором из четырех?) Еврейской и Канатной улиц.

О семье Жаботинских знаем мы тоже не очень много. Мать — Ева (Хавва), дочь торговца Меира Зака; отец — Иона (Евгений) Жаботинский, уроженец приднепровского Никополя, работавший торговым агентом РОПИТа, знаменитого черноморского пароходства, и ушедший из жизни, когда сыну Владимиру было всего шесть лет. Владимир был младшим ребенком в семье: старший брат Митя (Мирон) умер в детстве, сестра Тамара (Тереза) с шестнадцати лет поддерживала всю семью, впоследствии была учительницей арифметики и начальницей частной женской гимназии на улице Кондратенко (старые одесситы называли ее всегда по-старому — Полицейской, а новые привыкли к пореволюционному названию — улице Розы Люксембург). В справочных книгах серии «Вся Одесса» за 1911–1912 гг. сестра писателя фигурирует как Тереза Евгеньевна Жаботинская — Копп, Копп — фамилия ее рано

умершего мужа, врача по профессии. Корней Чуковский в своей книге «Гимназия. Воспоминания детства», рассказывая о перенесенной им детской болезни, называет и это имя: «Доктор Копп приходил каждый день...» Должно быть, тот самый? Памяти мужа сестры посвятит В.Жаботинский издание своей первой пьесы. К точным сведениям о матери и сестре знаменитого человека можно добавить разве что их точный адрес, относящийся уже к началу XX века, — ул. Почтовая (впоследствии — Жуковского), 4 — и тот факт, что в 1920 г. они уехали в Палестину. Да, немного нам известно об этой семье. Пока немного.., ибо вполне возможно обнаружение новых документов, способных расширить наши познания.

К примеру, в автобиографии вспоминает В.Жаботинский своего дядю, младшего брата отца, «обаятельного прохвоста», «лжеца милостью божьей», которому отец однажды по неосмотрительности поручил важные дела в РОПИТе, в чем затем раскаивался. Стало быть, дядюшка жил в Одессе? В «Метрической книге о браке» Одесского городского раввина за 1881 год встречаем запись (№ 532) о бракосочетании «мещанина м. Никополя Марка Жаботинского с дочерью одесского мещанина Абрама Богатырева, девицей Мариєю». Ему — 29 лет, ей — 20, и больше никаких сведений. Не о том ли самом «обаятельном прохвосте» идет речь?

А вот еще одно предположение, родившееся в ходе архивного поиска. По материалам Одесского охранного отделения 1907–1908 гг. проходила «николаевская мещанка Фаня Жаботинская», член Российской социал-демократической партии, проживавшая на ул. Кондратенко, 3. Николаевская мещанка? А, может быть, никопольская, как все Жаботинские, и писарь просто ошибся? Вполне возможно, но пока не доказано. Кто же эта таинственная социал-демократка, не кузина ли человека, нас интересующего? Ведь фамилия, судя по справочникам, отнюдь не была тогда в Одессе распространенной. А то, что разные ветви одного рода подались в разные течения общественной борьбы — один в сионисты, другая — в эсдеки — и типично для России начала века, и совсем не удивительно.

В Одессе жили и состоятельные родственники матери В.Жаботинского, люди, судя по «Повести моих дней», духовно далекие автору, и потому для нас не слишком интересные. Впрочем, не будем зарекаться, просто пока мы о них мало знаем. С Одессой связана судьба другого, куда более важного для нашего героя человека. В автобиографии вспоминает он, как, будучи пятнадцатилетним гимназистом, познакомился с десятилетней сестрой своего одноклассника, Аней Гальпериной, произведшей на него неизгладимое впечатление. Рассказ об этом событии занимает всего абзац и не по стилю, но по сюжету напоминает биографии великих итальянских поэтов Проторенессанса и Треченто. Спустя двенадцать лет подросшая Аня — Анна Марковна Гальперина — стала женой и верным другом Жаботинского.

В Одессе, главным образом, протекали и «годы ученья» этого необычного человека. Семи лет он был отдан в «частную школу для детей обоего пола» госпожи Лев и госпожи Зусман, находившуюся неподалеку от дома, где жили тогда Жаботинские, на Троицкой улице. Следующий этап — учеба во Второй Одесской мужской прогимназии (угол Пушкинской и Греческой улиц). Этот красивый дом известен одесситам многих поколений: там уже давно размещается прекрасный музей западного и восточного искусства, один из центров художественной жизни города.

Закончив прогимназию, юный Жаботинский продолжил свое обучение в знаменитой Первой, Ришельевской гимназии. С легкой руки Юрия Олеши, многие повторяли забавный афоризм: «Человечество делится на две части: тех, кто учился в Ришельевской гимназии, и тех, кто там не учился». По этой классификации В.Жаботинский явно принадлежит к первой половине человечества.

Как немного знаем мы и о гимназических годах Жаботинского! Из скудных источников, включая несколько абзацев автобиографии будущего писателя, известно то, что, будучи гимназистом, познакомился он со своей будущей женой, что дружил с однокашником Всеволодом Лебединцевым, впоследствии бонвиваном и членом партии эсеров, что сотрудничал в рукописном гимназическом журнале... Любопытно, но, пожалуй, не столь уж необычайно.

Индивидуальность гимназиста Жаботинского проявилась разве что в настойчивом тяготении к литературным занятиям. Сам он не без иронии вспоминал о том, как семнадцатилетним юношей увидел на страницах одной из одесских газет первую напечатанную свою статью с размышлениями на педагогические темы. Но и до этого «пустычка» и примерно в то же время из-под пера юноши выходили и стихи, и переводы, и прозаические произведения. Он даже роман написал и не постеснялся послать рукопись самому В.Г.Короленко, а «живой классик» ответил гимназисту, советуя «продолжать» писать. Судя по всему, мысль о «лаврах» русского писателя зародилась в душе этого даровитого человека еще в юности. «Не сосчитать всех рукописей, что я посылал редакторам и получал назад — или не получал — в возрасте между 13 и 16 годами», — вспоминал он позднее.

Среди рукописей было немало поэтических переводов, среди которых нужно выделить переводы Эдгара По (с английского) и Иегуды Лейба Гордона (с иврита). В работе над переводами обнаружились два несомненных дарования Жаботинского: замечательное чувство русского слова и хорошая версификационная техника, а также поразительная лингвистическая одаренность, о которой нельзя не сказать особо.

Принято считать, что великолепное владение родным языком, как правило, затрудняет для человека процесс овладения языками иностранными. Многие из нас на разных этапах жизни утешались этой мыслью, вспоминая великих мастеров слова, которым тяжело давалось чужое

слово. Случай Жаботинского опровергает это «правило». Его родным языком был русский: на этом языке говорили в семье, хотя, по воспоминаниям писателя, мама с некоторыми родственниками общалась на идиш, и дети с детства научились понимать этот язык. Нельзя сбрасывать со счетов и немецкоязычную ориентированность культурных еврейских семей в ту пору. Древнееврейскому он начал учиться еще в детстве, благодаря И.Равницкому — другу Х.-Н.Бялика и соредактору четырехтомного собрания еврейских легенд. Впоследствии иврит стал для него чуть ли не главным языком общения (в Палестине) и творчества. Английский и французский активно изучал еще в школьные годы, и, судя по переводам, преуспел поразительно. Украинским владел в совершенстве, польским — неплохо. В период своего первого пребывания за границей усовершенствовался в немецком и французском да к тому же изучил итальянский. И все это языки, в которых он не просто «ориентировался», а свободно говорил и писал. Уникальная одаренность!

Семнадцатилетним гимназистом перевел знаменитое стихотворение Эдгара Аллана По «Ворон». Сегодня мы располагаем целым рядом русских переводов этого произведения американского романтика. Известны версии Д.Мережковского, К.Бальмонта, В.Брюсова, М.Зенкевича, В.Бетаки. Но труд В.Жаботинского остается среди лучших русских переводов «Ворона». Влюбленность способного юноши в поэзию Э.По и прекрасное чувство языка позволили ему воссоздать не только семантику, но и поэтический строй философичного стихотворения с его образностью, ритмикой, аллитерациями.

Как-то в полночь утомленный, я забылся полусонный,
Над таинственным значеньем фоліанта одного;
Я дремал и все молчало... Что-то мягко прозвучало —
Что-то тихо застучало у порога моего.
Я подумал: «То стучится гость у дома моего —
Гость и больше ничего.

.....
Шелест шелка, шум и шорох в мягких пурпуровых шторах —
Чуткой, жуткой, странной дрожью пронизал меня всего;
И смиряя страх минутный, я шепнул в тревоге смутной:
«То стучится бесприютный гость у входа моего —
Поздний путник там стучится у порога моего —
Гость и больше ничего.

Можно продолжать цитирование этой прекрасной работы, не устывая поражаться тому, что переводчику было всего семнадцать лет. Есть и еще один повод для удивления. Молодой одессит послал этот перевод в петербургский журнал «Северный вестник», но там не смогли оценить его и не напечатали. Первым оценил достоинства этой работы живший в ту пору в Одессе поэт и переводчик Александр Митрофанович Федоров; это с его «подачи» «Ворон» в переводе Жаботинского увидел свет в

литературно-художественном сборнике «Наши вечера», выпущенном одесским Литературно-артистическим обществом в 1903 г. В сборнике участвовали И.А.Бунин, А.М.Федоров и другие — как видные, так и менее известные авторы.

Но ко времени выхода «Наших вечеров» одесскими любителям поэзии уже были знакомы и другие переводы В.Жаботинского из Эдгара По. На рубеже 1901–1902 гг. «Одесские новости» опубликовали переводы нескольких стихотворений американского поэта, выполненных своим «штатным фельетонистом». Эти переводы были замечены не только одесскими читателями. Какими-то судьбами попали они на глаза В.Я.Брюсову, который сразу же обратил внимание на подборку переводов. О своем впечатлении он сообщил в письме К.Д.Бальмонту, не побоявшись больно уколоть самолюбие одного из маститых собратьев по цеху: «В „Одесских новостях“ я нашел удивительные переводы стихов По — много лучше Ваших...»

Появление этих переводов в «Одесских новостях» никак не случайно: они принадлежали постоянному автору и сотруднику редакции. Как и когда прошло становление Жаботинского-журналиста? Задумываясь над этим вопросом, вспоминаю известные слова «Геродота Новороссии» Аполлона Скальковского об Одессе: «Одесса не знала младенчества». Вот и Жаботинский-журналист будто и не знал «годов ученья». Как-то внезапно, в один момент вошел он в жизнь одесской прессы, а дальше... дальше начались «годы странствий».

Автор «Повести моих дней» вспоминает, как А.М.Федоров, одоббив перевод «Ворона», представил совсем молодого человека редактору газеты «Одесский листок». Из всех журналистских амплуа семнадцатилетний юноша избрал для себя не более и не менее как положение зарубежного корреспондента и напрямую спросил редактора, будет ли «Одесский листок» печатать его, Жаботинского, корреспонденции из-за границы. Редактор, по свидетельству самого вопрошавшего, ответил весьма остроумно: «Возможно. При двух условиях: если вы будете писать из столицы, в которой у нас нет другого корреспондента, и если не будете писать глупостей». Дебютант принял всерьез оба условия, и поскольку у газеты не было своих корреспондентов в Берне и Риме, провел последующие три года, главным образом, в Швейцарии и Италии.

Весной 1898 года молодой одессит, подхлестываемый жадой новых впечатлений и уверенностью в своих силах, оставил учебу в гимназии и отправился в Берн. Позднее перебрался он в Италию, к которой привязался всей душой; там он нашел для себя и литературный псевдоним на долгие годы — Altalena (по-итальянски — качели). Через несколько месяцев после отъезда из Одессы в «Одесском листке» стали довольно регулярно появляться его публикации. С осени 1898 до весны 1900 гг. напечатано порядка сорока материалов молодого «недоучки». Правда, юный одессит посещал некоторое время лекции по правоведению в

Бернском университете, а позднее в Италии получил основательную эстетическую подготовку. Это не говоря уже о самообразовании и политических дискуссиях в кругу своих новых знакомых и друзей. Весной 1899 г. он вернулся в Одессу, держал экзамен на аттестат зрелости и провалился по древнегреческому языку; аттестат зрелости пришлось ему получать спустя восемь лет уже вполне зрелым человеком и литератором.

К этому времени относится и сближение с газетой «Одесские новости» — самой популярной тогда газетой Новороссии. Весной 1900 года Жаботинский переходит в нее и начинает регулярно посылать свои корреспонденции. Первый опубликованный в этой газете материал относится к 22 марта. С периодичностью куда более частой, чем в «Листке» — буквально раз в несколько дней — газета «Одесские новости» и вечернее приложение к ней печатали своего нового итальянского корреспондента. Ко времени возвращения Жаботинского из Италии в родной город — а произошло это летом 1901 г. — он не без удивления убедился, что в журналистских и читательских кругах Одессы у него уже было имя. Тогда же редактор «Одесских новостей» небезызвестный (благодаря мемуаристам) Хейфец предложил молодому журналисту остаться в Одессе и писать ежедневный фельетон для газеты на условиях постоянного, вполне приличного оклада. Предложение было принято.

1901–1903 годы — самый продуктивный период творчества Жаботинского-публициста. За это время в «Одесских новостях» появилось более 400 его статей по разным вопросам. Оставаясь «штатным фельетонистом», он становится и членом редакции газеты. Жизнь в родном городе, разумеется, не исчерпывалась работой. Были и друзья, было и «Литературно-художественное общество», куда он ходил с интересом и удовольствием. Да и в самой редакции «Новостей» встречались небезынтересные люди, привлеченные все тем же Хейфецом. Среди них Лазарь Кармен, уже известный тогда рассказами о босяках из Одесского порта, позднее полузабытый, похороненный на втором еврейском кладбище, которое четверть века назад одесские власти перепахали, несмотря на все протесты общественности; и совсем юный Корней Чуковский, приобщенный к занятиям журналистикой своим старшим (на целых два года) гимназическим другом Альталеной. Один из мемуаристов В.Швейцер вспоминает, что в начале века «Одесские новости» держались «на трех китах»: «корреспондент из Рима, писавший под псевдонимом «Altalena», бытописатель одесского «дна» Л.Кармен, отец известного кинорежиссера Романа Кармена, и молодой литературный критик Корней Чуковский...»

Спустя шесть с лишним десятилетий, будучи метром русской детской литературы и автором ряда ярких литературно-критических книг, увенчанный лаврами, Корней Иванович Чуковский напишет своей израильской корреспондентке Рахили Марголиной о Жаботинском: «...Он ввел меня в литературу... От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация. В нем было что-то от пушкинского Моцарта

да, пожалуй, и от самого Пушкина... Меня восхищало в нем все: и его голос, и его смех, и его густые черные волосы, свисавшие чубом над высоким лбом, и его широкие пушистые брови, и африканские губы, и подбородок, выдающийся вперед... Теперь это покажется странным, но главные наши разговоры тогда были об эстетике. В.Е. писал тогда много стихов — и я, живший в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах... Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой... Он был самый образованный, самый талантливый из моих знакомых...»

Литературное творчество Жаботинского в те годы не сводилось только к публицистике. О переводах уже заходила речь, хотя и до сих пор достижения Жаботинского-переводчика не оценены по достоинству. Его собственные стихи, пожалуй, менее интересны, хотя изданная в Петербурге поэма «Бедная Шарлотта» (об убийце Марата Шарлотте Корде) не прошла тогда незамеченной. Пробовал известный журналист свои силы и в драматургии. По возвращении из Италии в 1901–1902 годах написал драмы «Министр Гамм» («Кровь») и «Ладно», которые ставились Одесским городским театром, а позже, в 1911 г. написал еще одну пьесу — «Чужбина».

В 1903 г. в Одессе вышел сборник его новелл «В студенческой богеме». Да и спектр его публицистических выступлений был чрезвычайно широк. Хотя числился он фельетонистом (кстати, изданная позднее в России книга его избранной публицистики называлась «Фельетонь»), но писал также и очерки, и эссе, и обзоры... По заслугам считался самым популярным журналистом на Юге России, был замечен и редакторами столичных изданий. Словом, перед молодым, жизнелюбимым и талантливым одесситом открывалась широкая литературная дорога.

Однако вернемся к словам самого Жаботинского, с которых начался этот очерк. В конце 1903 года помышлял наш герой не только о «лаврах русского писателя», но еще и о «фуражке рулевого сионистского корабля». Странное, на первый взгляд, гротескное сочетание. Что же произошло с автором такого признания в 1903 году?

Бытует расхожее мнение, что интерес к сионизму молодой Жаботинский привез из-за границы. В самом деле, он услышал впервые об этом движении в период пребывания в Западной Европе, но тогда еще не заинтересовался им всерьез. Потряс процветающего литератора Кишиневский погром 1903 г., явившийся первым звеном в цепи ряда локальных трагедий (погромы в Дубоссарах, в родной Одессе и т.д.), обнаруживших кульминацию общегосударственной и общенациональной проблемы.

Жаботинский бросился в Кишинев, расспрашивал очевидцев, стремился понять размеры и суть происшедшего события. Эти погромы сблизили его с южнорусскими сионистами, а сами события заставили впервые задуматься о необходимости еврейской самообороны. Потрясен-

ный происшедшим, он живейшим образом воспринял появление «Сказания о погроме» Хаима-Нахмана Бялика, стал переводить стихи этого замечательного поэта. В 1914 г. стихи Бялика в русских переводах В. Жаботинского были изданы в Санкт-Петербурге отдельной книгой, и в течение последующих восьми лет сборник этот выдержал шесть изданий. Благодаря Жаботинскому-переводчику, со стихами Бялика смогла познакомиться российская интеллигентная публика. Так, в переводах Жаботинского прочел стихи Бялика и восхитился этим, по его словам, «великим поэтом» самый популярный русский писатель тех лет Максим Горький.

На Базельский сионистский конгресс В. Жаботинский был делегирован уже после Кишиневского погрома. Он еще ничего толком не знал о движении, но уже заболел проблемами своего народа. Это был его первый конгресс, и молодого неопита сразу же захватил незнакомый дотоле вихрь страстей и борений. Не богатая эпическая история предков, не национальный колорит современников, но, в первую очередь, страдания народа призвали разносторонне одаренного одессита на столь нелегкий и непростой для освоения путь.

К тому же времени относится и прощание с Одессой как постоянным местом проживания. Не суждено, правда, было Жаботинскому на манер многих одесских (по рождению и формированию) журналистов обосноваться в Петербурге, хоть и жилал он в столице и сотрудничал активно в петербургской периодике. «Вел я кочевую жизнь», — вспомнит об этом времени автор «Повести моих дней». Петербург, Вильно, Киев, Гродно, Нижний Новгород, Вена, Стамбул — не перечислить всех городов, где довелось ему побывать в те беспокойные годы. Литературных занятий он не оставлял (то была его профессия, дававшая, кстати, средства к существованию), но все большее место в его жизни занимало сионистское движение.

Не прерывались связи Жаботинского с Одессой. Здесь жили самые близкие люди — мать и сестра, здесь была его «корневая система». Он приезжал в Одессу на разные сроки, иногда — на несколько месяцев. В квартире матери на Почтовой улице ждала его постоянная комната, в ней он провел 1911–1912 годы. Было похоже, что коренной одессит возвратился в родную гавань. В справочнике «Вся Одесса» за 1911 и 1912 гг. он фигурирует как журналист «Одесских новостей» и член «кассы взаимопомощи литераторов и ученых». Снова регулярно печатается в родной газете, с которой и прежде связи не терял. В 1911 г. основал в Одессе издательство «Тургеман» (переводчик); переводил для него с итальянского на иврит роман Джованьоли «Спартак». В 1912 г. переехал от матери с сестрой на другую квартиру (Новосельская ул., дом 91), где прожил несколько месяцев. А уж если вспомнили мы 1912 год, то как не сказать о выборах в Государственную Думу, коснувшихся и В.Е. Жаботинского.

Собственно, это была его третья попытка. Впервые он был выдвинут кандидатом в депутаты Второй Государственной Думы от Волыни, но... Выборы были двухступенчатыми, и на первом этапе еврейские выборщики забаллотировали известного публициста, а волынские мужички в свою очередь забаллотировали тех, кого поддержали еврейские выборщики, предпочтя им откровенных черносотенцев. Как известно, Вторая Дума просуществовала недолго, была распущена, и в 1907 г. во время избирательной кампании Жаботинский был выдвинут в Третью Думу, на этот раз в своей родной Одессе.

Не так просто восстановить все подробности тех выборов, но скажем хоть кое-что о предвыборной атмосфере. Начнем с ограничений. Кто не имел права голосовать? Лица женского пола, лица моложе 25 лет, учащиеся учебных заведений, воинские чины армии и флота, состоящие на действительной службе, бродячие инородцы, иностранные подданные. Интересно, к какой из этих категорий был отнесен сам Жаботинский (уж не бродячий ли инородец?), но в списках лиц, имевших право участвовать в выборах в Государственную Думу, сохранившихся в Одесском архиве, имени Жаботинского нет. Не было его и в списках избранных депутатов.

Первое избрание Жаботинского в родном городе не так уж и удивительно, если учесть, что городские власти, как принято теперь говорить, «держали ситуацию под контролем». А что собой представляли городские власти, даже выборные? В Архиве Одесской области сохранился любопытный документ — Постановление Одесской городской Думы от 4 июня 1907 г. (в связи с роспуском Второй Государственной Думы). Позволю себе процитировать его:

«Одесская Городская Дума, выслушав предложение 19-ти гласных по поводу состоявшегося Высочайшего повеления о роспуске Государственной Думы, единогласно постановила: повергнуть к стопам ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА верноподданические чувства в следующей телеграмме: «ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ! Одесская Городская Дума с болью в сердце созерцала бесплодную работу Государственной Думы и прониклась глубоким убеждением, что лишь изменение избирательного закона может дать спокойствие и благоденствие дорогой родине. В трудную историческую минуту Одесская Городская Дума спешит повергнуть к стопам ОБОЖАЕМОГО САМОДЕРЖАВНОГО, НЕОГРАНИЧЕННОГО МОНАРХА выражения верноподданических чувств».

Что ж, несмотря на известное вольномыслие Одессы, заметно отличавшейся в этом отношении от своих северных и восточных соседей, управляли ею такие же государственные мужи, как и повсюду в стране. Холуйский дух и холуйский этикет процветали под сенью мудрости «обожаемого монарха», доведшего страну до катастрофы, и благополучно перекочевали из «России, которую мы потеряли», в новую, так

называемую социалистическую действительность. Впрочем, это произошло позднее, уже в нашем присутствии.

Провал на выборах в Третью Думу оказался для Жаботинского не последним. В 1912 г., когда империя готовилась избирать очередную, Четвертую Государственную Думу, группа еврейских общественных деятелей в Одессе снова остановилась на кандидатуре Жаботинского, и Владимир Евгеньевич, живший и работавший в ту пору в родном городе, дал согласие баллотироваться. Было ли серьезным и обдуманным это его решение? Надо полагать, вполне. Помимо деклараций, обратим внимание на один, снова архивный, и, казалось бы, далекий от политической жизни документ.

Сохранилось Дело Одесского нотариального Архива «о продаже мешанином Шлмой Татуром мешанину Владимиру Жаботинскому имения в г. Одессе за 450 руб.» Далее узнаю, что одесский мешанин Шлма Лейбов Татур продал никопольскому мешанину Владимиру Евнову (Евгениеву) Жаботинскому «собственное свое недвижимое имущество, состоящее в г. Одессе, Дальницкого полицейского участка, на Большом Фонтане..., заключающееся в участке пустопорожной земли, показанном на плане», и т.п.¹ Зачем это понадобился Жаботинскому, в 1911 г. «участок пустопорожной земли» на Большом Фонтане? Попробуем мыслить с помощью аналогий. Пятью годами раньше, накануне выборов во Вторую Думу он, по собственным воспоминаниям, «в Волыни, в заброшенном городе около Ровно... купил одноэтажный домик о трех окошках и тем самым приобрел право избирать и быть избранным» (подч. мной — М.С.). Надо полагать, что и собственность в Одессе понадобилась кандидату в Думу с той же целью.

Среди одесских газет с особой тщательностью следил за избирательной кампанией Жаботинского «Одесский курьер». Вот, в номере 488 (1912 г.) помещена статья редактора газеты Ш.Бурштейна с говорящим названием: «Наконец-то». В статье приветствуется решение группы еврейских общественных деятелей проводить в депутаты Государственной Думы от города Одессы во второй курии еврея и остановиться на кандидатуре В.Е.Жаботинского. «Не может быть сомнения и в том, что наиболее прогрессивные христиане, жаждущие услышать в Думе яркое вдохновенное слово протеста против всякого беззакония, с удовольствием отдадут свои голоса В.Е.Жаботинскому, прогрессивность и искренность убеждений которого не подлежат ни малейшему сомнению», — пишет далее Ш.Бурштейн, пребывая в полной уверенности, что Жаботинский получит большинство голосов. В № 494 той же газеты помещена любопытная статья Ф.Ш.Колосова «Жаботинский как еврей». Кратко описав эволюцию взглядов поддерживаемого кандидата, называя его «нашей драгоценностью» и сравнивая с Гамбеттой, автор призывает читателей отдать свои голоса такому человеку. В следующем номере «Одесского курьера» снова редактор обращается к евреям, разобщенным по разным

группам и партиям, со статьей «Поймите же наконец!», доказывая необходимость голосовать за Жаботинского. Были подобные материалы и в других газетах, и тем не менее...

Преодолеть разобщенность не удалось. С одной стороны кадеты (среди видных одесских кадетов евреи составляли внушительную часть), с другой — социалисты из «Бунда» вели яростную пропаганду против видного публициста, и в конце концов незадолго до выборов Жаботинский снял свою кандидатуру. (Потому, возможно, и разладилась его сделка со Шлемой Татуром: на процитированном выше Деле нотариального Архива написано — «Начато 15 июня 1911 г.», а против слова «Кончено» — ничего не проставлено; да и среди одесских землевладельцев за 1912 г. Владимир Евгеньевич не значится.) В 499 номере «Одесского курьера» все тот же Бурштейн писал в статье «Пиррова победа»: «Кадеты торжествуют. Самый опасный претендент на депутатский мандат от второй курии снял свою кандидатуру». А в юбилейном, 500-м номере Ф.Колосов горевал: «...Снятие кандидатуры Жаботинского омрачает наш скромный праздник...»

Можно только предполагать, как бы действовал Жаботинский в случае избрания в Думу. Наверняка отстаивал бы интересы российского еврейства (тут не может быть сомнений), а, может быть, и права других национальных меньшинств; вероятно, не забывал бы о заботах Одессы и шире — Новороссии. Наверное, выступал бы с привычной страстностью и искренностью. Но при этом пришлось бы, очевидно, отойти от задач сионистского движения: как бы совмещались требования равноправия евреев в России и призывы вернуться на историческую родину для создания своего государства? «Впрочем, что ж болтанье! Спиритизма вроде...»: история не знает сослагательного наклонения, и случилось лишь то, что случилось.

Отрицательные эмоции, связанные с избирательной кампанией, определили окончательный выбор Жаботинского. Он покидает родной город, а вскоре и Россию. В последний раз он посетил Одессу ненадолго в 1915 г. Кроме Одессы, побывал тогда в Петербурге, Москве и Киеве; это был его последний приезд в Россию. А через пять лет переедут в Палестину его мать, сестра и племянник, и порвется последняя ниточка, связывавшая уже известного политического деятеля с городом и страной, где он родился, вырос и прожил большую часть жизни.

То были связи личные и семейные. А что же связи духовные, эмоциональные, ведь были, наверное, и такие? Вопрос не из легких. Начнем с того, что в памяти Жаботинского в 20–30-е гг. Россия возникала как оплот реакции вообще и антисемитизма в частности. «Если у меня есть духовное отечество, — писал он, — то это Италия, а не Россия». Правда, осекал всякий раз, когда заговаривал об отношении русского народа к инородцам: «...я вообще сам еще не настолько освободился от пережитков дедовской ксенофобии, чтобы иметь право выслеживать зерна

того же недуга...» Такую широту взгляда впитал он в родном, многонациональном городе. Недаром же, при самом критическом отношении к России Жаботинский всегда делал безоговорочное исключение для своей «малой родины».

«Одним из трех факторов, которые наложили печать свободы на мое детство, была Одесса. Я не видел города с такой легкой атмосферой, и говорю об этом не как старик, думающий, что на небосклоне потухло солнце, потому что оно не греет ему, как прежде. Лучшие годы юности я провел в Риме, жил в молодые лета и в Вене и мог мерять духовный «климат» одинаковым масштабом: нет другой Одессы — разумеется, Одессы того времени — по мягкой веселости и легкому плутовству, витающим в воздухе, без всякого намека на душевное смятение, без тени нравственной трагедии. Я не скажу, Боже упаси, что обнаружил в этой атмосфере избыток глубины и благородства, но ведь ее ласкающая легкость именно и состояла в отсутствии какой бы то ни было традиции. Из ничего, из нуля возник этот город за сто лет до моего рождения, на десяти языках болтали его жители, и ни одним из них не владели в совершенстве... Город эфемерный, как клещевина пророка Ионы, и все, что произрастает в нем, — материальное, нравственное, общественное — тоже Ионова клещевина, переходящий случай, острота, авантюра...»

В других контекстах автор этого панегирика столь же страстно, хоть и более лаконично вспоминал незабываемый родной город. Это была прочная любовь, лишенная притом налета идеализации и экзальтации. В творчестве эта любовь вылилась в роман «Пятеро», написанный порусски и вышедший в 1936 г. В этом, частично автобиографическом произведении, в центре которого трагическая судьба интеллигентного еврейского семейства, образно воссоздана атмосфера жизни в Одессе начала XX века. Здесь, как удачно заметила американская исследовательница Алиса Нахимовски, «Одесский городской пейзаж создает стойкий колорит книги, и чувствуешь, что улицы и порт изображены не только для точного указания на место действия, но это еще и волшебное действие памяти, поэтический способ преодоления изгнания и времени с помощью слова...»

Говоря о «духовном отечестве» Жаботинского, было бы неверно замкнуться в рамках его родного города. Для человека столь широких интеллектуальных интересов и столь больших творческих возможностей плацдармом духовного становления и развития была разноплеменная культура, но раньше всех — русская культура. Полностью осознаю, что этот тезис небесспорен, что авторов, желающих его оспорить, было и есть немало. Конечно же, И.Равницкий и другие наставники пробудили у молодого Володи (Зеева) сильный интерес к культуре своего народа. Конечно же, интернациональная Одесса стимулировала внимание молодого публициста к судьбам других народов империи, долгие годы лишенных права на свободное развитие своей культуры; так, в ряде выступлений

Жаботинского в печати отчетливо проявились его неподдельный интерес и глубокое понимание судеб украинской культуры². И все же родным, «материнским» языком, первым языком обучения и языком творчества был для него русский.

Некоторые израильские и американские биографы Жаботинского слишком уж, на мой взгляд, однозначно восприняли отдельные декларации лидера ревизионистского крыла в сионизме. К примеру, в содержательном предисловии профессора Иосефа Недавы к автобиографической прозе Жаботинского встречаем такое утверждение: «...Он не любил русской литературы с душевной путаницей ее творцов, их самобичеванием и копанием в себе...» Такого рода обобщения нескольких вырванных из контекста признаний самого Владимира Евгеньевича легко приводят на путь упрощений.

Да, автор «Повести моих дней» признавался, что «не склонен углубляться в бездны души», что предпочтение, отдаваемое им западным авантюрным и историческим романам перед русской прозой, спасло его от чрезмерной рефлексии («гамлетизма», как выразились бы иные русские критики конца XIX века) и преждевременного старения. Но как не заметить, что перед этим Жаботинский пишет о своих любимых Пушкине и Лермонтове, которыми, как и Шекспиром, зачитывался с детства и которых знал чуть ли не наизусть. Свой «критический вердикт» выносит он «остальной русской литературе», делая при этом немаловажные исключения для русской поэзии (!) и романа Гончарова «Обрыв». Совсем молодым еще человеком написал он в итальянскую газету «Аванти» статью о «литературе настроения» в России, где речь шла о Чехове и молодом Горьком. О газете «Русские ведомости» вспоминал в зрелые годы не без нежности: «старая честная газета, гордость русской печати»; трудно не расслышать в этой фразе и более широкое, уважительное отношение к передовой русской прессе. По воспоминаниям одного из друзей, до конца жизни любил играть, загадывая две строчки из русских стихов, чтобы его собеседники продолжали.

Да, «отлучить» Жаботинского — литератора и любителя литературы — от российской словесности трудновато. Да и вообще приговоры, вроде упомянутого, не всегда стоит воспринимать буквально, тем более если исходят они от творческой личности. Вспомним, как ниспровергал Шекспира — в угоду собственной концепции творчества — поздний Лев Толстой, в глубине души великолепно осознававший масштаб гения английского драматурга. На уроженца Бердичева, польского шляхтича Теодора Юзефа Конрада Коженевского, более известного нам как английский прозаик Джозеф Конрад, имя Достоевского действовало, как красная тряпка на быка; но сегодня признано и является неоспоримым глубокое влияние творчества Достоевского на автора «Лорда Джима» и «Тайного агента». Свое впечатление от прямых деклараций писателя всегда стоит проверить, внимательнее вчитавшись в его книги.

Даже в статье Жаботинского «Русская ласка», содержащей не всегда безукоризненно точные рассуждения об «антисемитских мотивах в русской классической литературе», есть пассаж, дающий вполне четкое представление о главных критериях, которыми он руководствовался в оценке литературы: «...Между прочим, русскую литературу я очень ценю, включая и этого самого Гоголя, потому что литература должна быть прежде всего талантлива, и русская литература — далеко не в пример иным прочим отраслям русской национальной жизнедеятельности — этому условию удовлетворяет...» Стало быть, эстетический критерий доминирует над идеологическим, и этот приоритет нельзя игнорировать при анализе эстетических пристрастий автора процитированных строк.

К примеру, признается Жаботинский: «Итальянский по сей день для меня мой язык, возможно, даже в большей степени, чем русский, хотя я теперь и запинаясь и подыскиваю забытые слова в разговоре». Любопытное признание, прочитав которое, сразу же думаешь о том, что по-русски Владимир Евгеньевич и, покинув Россию, никогда не запинаясь, и слов ему не нужно было «подыскивать». Наоборот, у других людей подмечал неточности в русской речи; даже о матери своей писал, что «она производила разрушительные действия в русской грамматике». О своем друге и героическом соратнике И.Трумпельдоре писал, что тот «по-русски говорил хорошо, хотя в Палестине научился немного «петь». Сам Жаботинский ценил хорошую русскую речь. Кстати, называет он в своих сочинениях Трумпельдора в русской патронимической манере — «Исиф Владимирович» — и восхищается тем, что Трумпельдор был хорошо начитан в русской литературе, «читал даже вещи, которых никто не читал, Потембю и т.п. — и помнил каждую строчку...»

Интересно, что, желая сказать: «от начала до конца», — Жаботинский употребляет такой фразеологический оборот — «от аза до ижицы» (а не, к примеру, «от альфы до омеги»); нередко в его русских сочинениях даже поздних лет российские поговорки, пословицы, даже коллоквиальные словечки.

В вышедшей в 1928 г. его книге об истории еврейского легиона в Палестине есть всего одна стихотворная цитата, которую позволю себе воспроизвести:

От Рушука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи.

Четверостишие это взято из стихотворения (скажем, не самого хрестоматийного) Пушкина «Стамбул гяуры нынче славят». Надо полагать, приводя пушкинские строки, Жаботинский не заглядывал в томик стихов любимейшего из русских поэтов.

Да и вся-то книга о еврейском легионе написана, в отличие от «Повести моих дней», по-русски, и название ее — «Слово о полку» —

сразу же вызывает у просвещенного читателя ассоциацию с самым значительным памятником древнерусского средневекового эпоса. Наконец, два самых значительных из крупных прозаических произведений Жаботинского — его романы «Самсон Назорей» и «Пятеро» — были написаны хоть и вдалеке от России, но на русском языке. Быть может, в 20–30-е гг. задача завоевания «лавров русского писателя» для политического деятеля отошла на второй план, утратив ту остроту, которая ощущалась Альталеной в 1903 г., но чувство сопричастности русской словесности вряд ли совсем покинуло его. Чувство, возникшее еще у одесского гимназиста.

И снова приходится сокрушаться по поводу того, как еще мало мы знаем о гимназических годах Жаботинского. Не так давно, в 1990-е гг., появился в печати (через двадцать с лишним лет после смерти его автора) бесценный источник — дневники Корнея Чуковского. Но увы, гимназический период в них практически отсутствует. Может быть, не вел он в гимназические годы записей, а, может, дело в том, что еще в 1940 г. выпустил он книгу «Гимназия. Воспоминания детства»; но та беллетристическая книга, несомненно, прошла сильную автоцензуру: в какие годы она издавалась!

Правда, есть в дневниках Чуковского одна запись, которая представляет особый интерес в плане нашего разговора. Датирована она 11 июня 1965 года: «...Получил из Иерусалима письмо, полное ненависти к деспотизму раввината. Автор письма Рахиль Павловна Марголина прислала мне портрет пожилого Жаботинского, в котором уже нет ни одной черты того Альталены, которого я любил. Тот был легкомысленный, жизнелюбивый, веселый: черный чуб, смеющийся рот. А у этого на лице одно упрямство и тупость фанатика. Но, конечно, в историю вошел только этот Жаботинский...»

Дневниковая запись, судя по дате, сделана примерно тогда же, когда было написано и то письмо Чуковского Марголиной, которое цитировалось несколькими страницами выше. Какая же разительная перемена тона! Там — «восхищало в нем все», «главные разговоры об эстетике», здесь — «легкомысленный»; там — «пушкинско-моцартовское начало», здесь — «одно упрямство и тупость фанатика». А ведь по воспоминаниям ряда современников (еще не опубликованным), К.И.Чуковский не менял с годами восторженного отношения к Жаботинскому. Так, автор известной трилогии «Путь слова», писатель и переводчик Лев Боровой рассказывал автору этих строк о том неподдельном пиетете, который питал Корней Иванович к другу юности, хотя был весьма строг к большинству своих собратьев по цеху. О благоговейном отношении Чуковского — уже в 1960-е гг. — к памяти Жаботинского поведал мне и видный знаток творчества К.И.Чуковского литературовед Мирон Петровский.

Неужели так сильно поразил корифея детской литературы полученный от Марголиной портрет? Неужто в послесталинские годы не попадали в его руки книги западных авторов о Жаботинском, содержавшие нема-

льный иконографический материал? Нет, как-то не хочется придавать слишком большое значение физиогномическому диагнозу Корнея Ивановича. Лишь гипотетически можно утверждать, что отношение его к другу юности оставалось неизменным, а слова, вроде «упрямства» и «тупого фанатизма», появились в дневниках не без влияния автоцензуры: а вдруг дневниковые записи попали бы на глаза «компетентным людям», для которых само имя Жаботинского было тогда из разряда недозволённых. Мудрый Корней Иванович знал, где он живет, и многолетним опытом был приучен к осторожности; от назойливости «кураторов» с Лубянки не спасли бы ни оксфордская мантия, ни Ленинская премия. Впрочем, повторяю, это не более, чем гипотеза, а тема «Чуковский и Жаботинский» еще ждет специального изучения.

Но если отвлечься от непонятной резкости выражений, то нельзя не признать и некоторой правоты К. Чуковского, подметившего разницу между «двумя Жаботинскими»: ранним и поздним. Несомненно, «моцартианское» начало, которое проглядывало в раннем Жаботинском, плохо сопрягалось с теми политическими целями, которые он ставил перед собой в более поздние годы жизни. И, разумеется, невозможно уяснить происшедшую с выдающимся человеком эволюцию, мысля категориями привычной дихотомии: черное/белое. Разве можно однозначно судить, какой этап жизнедеятельности Жаботинского важен, а какой — нет? Просто речь идет о разных жизненных устремлениях, которые востребовали по преимуществу разные стороны интеллекта и дарования.

Концепция «еврейского государства», прекрасно изложенная Жаботинским в одноименной брошюре, реальная политическая ситуация в Палестине определили довольно жесткую позицию, занятую сторонниками ревизионистского крыла в сионизме во главе с их лидером. На нескольких кризисных этапах истории государства Израиль проводимая последователями Жаботинского линия себя определенно оправдала, что, однако же, не означает, на взгляд вдумчивых политологов, что она единственно правомерна для всех времен и обстоятельств. Да и речь сейчас о другом: сплошь и рядом вынужденная политика «железной стены» не была самым подходящим поприщем для проявления «моцартианского» духа.

Но было бы неверно утверждать, что страстный патриот своего народа, так много сделавший для его утверждения на исторической родине и так энергично работавший для создания независимого еврейского государства, Жаботинский полностью подавил в себе творческую личность, «наступив на горло собственной песне». Вдохновенный Альталена и в двадцатые, и в тридцатые годы не раз давал о себе знать и в блестящей риторике политического деятеля, и в своей бескомпромиссной принципиальности, проявленной в политических и идеологических баталиях, в яркой публицистике и, наконец, в романах.

Невероятное в умозрительных построениях, но имевшее место в действительности конфликтное сочетание двух жизненных линий и устремлений своеобразно отразилось в характере главного героя романа «Самсон Назорей». На разных стадиях жизни сталкивается он с необходимостью укрощать темперамент и гордость перед лицом насущных чаяний своего народа. Индивидуализм этой яркой и сильной натуры то и дело вступает в противоречие с патриотизмом Самсона, выстраданным, сложным, но в то же время органичным. Скрытое тяготение к иной, менее замкнутой цивилизации подавляется зрелым Самсоном ради великой цели. Оппозиция «свое/чужое» не является для него такой уж простой и определенной. Самсон у Жаботинского — борец, но не только с иноплемennыми врагами; не менее значительны, хоть и скупомысленно описаны его «борения с самим собой». Как тут не подметить скрытой автобиографичности повествования? Европейец по духу, автор романа, вопреки, быть может, своему бурному жизнелюбию и ренессансно многосторонней одаренности, сосредоточился на проблемах и бедах родного народа, положив на этот алтарь все свои силы и самое жизнь. И, видно, небезосновательно заметил К. Чуковский, что именно этот, второй Жаботинский и вошел в мировую историю.

Но нельзя забывать и хронологически первого Жаботинского, неординарная талантливость которого поражала и притягивала к нему многих современников. Нелегкое дело, которому служил он в зрелые годы, не нуждалось в полной мере во многих из его дарований. Заразительно жизнелюбивый и безмерно одаренный Альталена остался, главным образом, в своей быстро протекшей молодости.

Он остался в Одессе...



¹ Пользуясь случаем, выражаю благодарность краеведу А.Ю. Розенбойму за указание на этот архивный документ.

² Доброго слова заслуживает в этой связи Республиканская ассоциация украиноведов, первой на территории бывшей империи предпринявшая издание книжки статей Жаботинского (Володимир Жаботинський. *Вибрані статті з національного питання*. — Київ, 1991).